

# НИНА САДУР: ЛИТЕРАТУРА — НЕ КОРЫТО ДЛЯ ВСЕЯДНОГО ЛИТЛЮДА

*Наша беседа с известным прозаиком и драматургом Ниной Садур произошла в разгар июля 2010 года. Запоминающаяся интонация писательницы сразу вызвала ассоциацию с ее прозой, в которой читатель словно плывет по напевному, чуть подернутому таинственным туманом морю-тексту. Герои ее повестей живут в особом времени, на какой-то период встраивающимся в реальное время читателя, а дальше — ускользающим и продолжающим течь в общем потоке жизни... Разговор зашел о несправедливой оценке критиками творчества авторов, описывающих вопиющие проблемы современности, и затем переключился на сегодняшние проблемы русской литературы и отношение Нины Николаевны к своему творчеству, товарищам по литературному цеху.*

**И. Логвинова:** *Нина Николаевна, расскажите, пожалуйста, о семье, в которой вы родились. Были ли у вас в роду пишущие, люди искусства?*

**Н. Садур:** Я родилась в Новосибирске 15 октября 1950 г. В районе Кривошёрково. Мама таинственно ликовала: «Я тебя родила в середине века, в середине осени, в воскресенье». Я помню своё малолетство в «Саду металлистов» и жгучую зависть к безногому злощемому сторожу сада. Мы его звали почему-то Удод. Я мечтала быть его заместителем, а он орал на нас тоскливым ором, не разрешал рвать землянику на лужайках и лизать клёны — весной они сочились сладким соком. Удод был послевоенный несчастный человек и мечтал быть единственным командиром и обитателем «Сада металлистов». Тогда — 10 лет после войны — было много несчастных и злых людей. Они кричали так, как будто плакали, а плакали, как будто ругались. Удоду я объясняла, что когда вырасту, стану путешественником и биологом. Удод тосковал — всё, что он мог, — быть главным в «Саду металлистов».

Осенью малолетки вязали красивейшие гирлянды из золотых листьев — длины невероятной. Мы Удоду кричали, что он Удод, и он, криво шатаясь, гонялся за нами, за нашими гирляндами. Он чем-то был похож на ничейную собаку — откликался на любой зов. Чтоб совсем свести Удода с ума, мы «выступали» на лужайке, как на стадионе, со своими гирляндами, будто бы мы художественные гимнастки с лентами. Но мне кажется, в чём-то я была пронира, потому что удалось мне втереться в доверие к Удоду, и он нам разрешал осенью жечь костры из опавших листьев и печь картошку. Жечь и печь хотелось страстно! И Удод нам разрешал!!!

**И. Л.: А что такое «Сад металлистов»?**

**Н. С.:** «Сад металлистов» — это было место огромного счастья. Он был очень большой, невысокий и довольно плоский со своими зелёными пространствами, клёнами-тополями и пыльной акацией, которая почему-то всегда вызывала тоску, в отличие от клёнов и особенно тополей, сладких и родных деревьев Сибири. Сад этот был весь охвачен высоким, чудесным, подробным — досочка к досочке, и точёные столбики с крышечкой наверху, — деревянным, крашеным в зелёное, забором. Сверху по забору шла широкая удобная доска. По ней мы и бегали: вверху, по головам сада — мы, а внизу, в зарослях шиповника, вдоль нас — хромо́й Удод. Его тоска нас пугала и злила.

На главной аллее сада стояли могучие лавки с гипсовыми подлокотниками, крашеными серебрянкой. На них сидели жёны военных в «пыльниках». Меж лавок — тоже серебряные — стояли скульптуры советских металлистов. Меж всем этим роились капустницы, слипаясь крыльями, шурша таинственным сладострастием. А на земле за лавками, в кудрявой мураве, мерцали мириады мелких стёклышек и камушков (этот мир не мог кончиться, он был вечен).

Если же по этой аллее идти вверх, до конца сада, то счастье разгоралось, становясь почти нестерпимым — аллея упиралась в чудесный кинотеатр «Металлист» с прохладной дощатой террасой, пахнувшей тёплым деревом и пионерлагерем. Там мы с мамой смотрели кино «Русское чудо». Мне понравилось, а мама сильно ругалась.

Мама ругалась также, что моё зелёное драповое пальто — мальчуковое — провоняло дымом. Почему-то я всю жизнь ходила в зелёных пальто...

А один раз я свою маму чуть не посадила в тюрьму.

Она вообще была крикливая, и в её крике слышалось то же, что в крике Удоды и остальных неласковых граждан нашего Кривощёково. Часто, сидя на кухне с тётёй Зоей, мама кричала, что Хрущёв «страну угробил», что он «дурак некультурный», и у нас из-за него белого хлеба не стало. Ну, я и решила свергнуть Хрущёва. Я очень любила свой злой, ругливый народ — ведь я играла с его детьми — и я хотела ему счастья. Я написала записки такого содержания: «Вставайте против Хрущёва. Хрущёв не вождь». По хитрости своей изворотливой натуры, я покапала на записки одеколоном «Шипр» и посыпала их табаком, украденным у дяди Вади. Чтoб собаки не взяли след. Эти записки я рассовала по почтовым ящикам нашего двора.

Я уже не помню, как меня вычислили, но граждане сильно ругали меня и мою маму. Все они вернули нам мои записки. Я только про Карлов не сказала. Я стеснялась, что нашим соседям по площадке Карлам, тоже сунула записку про Хрущёва. Я умирала от смущения из-за Карлов. Карлы были немцы, и в этом была какая-то тайна. С Вовкой Карлом мы дружили (мы с ним разводили гуппей и меченосцев). А взрослые Карлы были с таинственно синими глазами и облачным светом волос над лицами... Я боялась, что Карлы будут надо мной смеяться.

Я ничего не сказала про Карлов. И Карлы тоже промолчали. Ни один человек — ни молчаливые Карлы, ни наши, русские крикуны, — на нас с мамой не донёс...

Мама была учительницей русского языка и литературы в вечерней школе, а папа — поэтом и членом союза писателей, с которым у него были очень плохие отношения. Он любил, выпимши, орать на писателей, что они спекулируют своим фронтовым прошлым и кланчат себе разные льготы. В итоге папу моего Николая Илларионовича Перевалова — это псевдоним, фамилия его Колесников, я в девичестве — Нина Колесникова, или Колесо, как по-доброму дразнили меня друзья. Ну, так вот, папу моего совершенно перестали печатать в Новосибирске и печатали только в Москве в издательстве «Молодая Гвардия», где работал его фронтовой друг Николай Старшинов. Про Николая Старшинова я помню только, что у него были очень синие глаза. Один раз они с моим папой сильно выпили и молодая мама громко выгнала их на улицу. (Мама не понимала своей таинственной власти над израненными русскими мужиками). А утром пехотинцы бурно хвалились о том, как ночевали на лавке в «Саду металлистов». Я даже немножко приревновала — сад-то был только наш и Удодов...

Папа мой ненавидел ездить в дома творчества и всю жизнь уезжал на всё лето на «заимку Седова». Там он выкапывал землянку, с фронтовой умелостью выстилал её лапником и накрывал брезентом. До поздней осени рыбачил (ловил маленькую, красивую стерлядку на удочку-закидушку), собирал грибы, пил чай из жестяной кружки и писал стихи: «Мне ещё предстояло в дыму и огне / прошагать по великой войне. / У Днепра с окровавленной грудью упасть. / За неё, за советскую власть». У меня целый сундук с его записными книжками. Надо ли говорить, что свидетель эпохи — поэт?! На «заимке Седова» я не была ни разу. Надо ли говорить, что мы с мамой слухом не слыхивали ни про какие Коктебели и Перedelкины.

Мы с мамой ездили отдыхать в Сочи. Нас, кривощёковских сибирячек, Сочи валил с ног своей роскошью.

Потом мы с мамой жили в центре, на другой стороне Оби. Мы навсегда уехали из Кривощёково, хранителя «Сада металлистов», и я поклялась себе всю жизнь любить злого бледного одноклассника Гарри Зея и каждое воскресенье приезжать в Сад. Но река Обь навсегда отрезала от меня это место.

В Новосибирске на улице Гоголя мы с мамой поселились в однокомнатной квартире. Это был центр города — на трамвае две остановки до Оперного. Здесь люди не так кричали, как в Кривощёково, но и знакома я с ними была поменьше. Наша квартирка выходила окнами на травянистый двор, через дорогу были зоопарк и союз писателей. Ночью было слышно, как плачут животные.

В 15 лет я поступила в ЛИТО к человеку с фамилией Фоняков. Стихи у него были как его фамилия. И он, один из всего Советского Союза, побывал в Японии. В это не верилось. Не верилось и что Япония где-то есть. Но это придавало товарищу Фонякову огромный вес в наших глазах.

В ЛИТО я нашла себе дружок на всю жизнь. Их теперь называют «Сибирской школой поэзии». Я надеюсь, что хоть краешком, хоть каким, принадлежу к ним, к моим великим друзьям-поэтам. Это Саша Денисенко, Ваня Овчинников, Толя Маковский, Жанна Зырянова, Коля Шипилов. Боюсь, что Фоняков мучился нами всеми. Томили мы его. Он говорил, что у Вани Овчинникова бессвязные стихи, а мне почему-то советовал ехать на БАМ, а то я писателем никогда не стану. Он говорил: «Я тебе комсомольскую путевку выпишу». И я кричала на маму: «Я на БАМ еду, писателем становиться!» Моя мама орала так!!! Да и какой БАМ, когда мы с Жанкой подражали Брет Эшли и завывали Цветаеву на всех углах? И маленькую Юлю, в белокурых ямочках, таскали за собой, как подарок.

Юля Пивоварова сейчас выросла в поэта. Я думаю, что в то время точнейшее младенческое лицо Юли, не получавшее ни дневного сна, ни детского питания, жалкими ужимками и гримасами выживало среди нас, табора. Я думаю, что Юля-младенец жила среди пуль и хаоса, пытаясь найти, кого же она любит. И нашла — маму свою, Жанну Владимировну Зырянову (когда Жанка умирала, Денис орал на всю больницу: «Жанна, тебя приняли в союз писателей!»).

Не зря же вся Нахаловка умирала, когда шла Юля, несла свои византийские очи и речи едкие, и говорок приятный, прилапнённый. О, я что думаю — я думаю, что это Сибирь... Я думаю, что мы виноваты перед ребёнком, которым была Юля. Думаю, что она хитрила и младенчески металась, нас тайно обожая. Ещё я думаю,

что у поэтов не бывает детства. У Юли его не было. Она была тот лисёнок, на которого любила смотреть Анна Ахматова. Я думаю, что мы с Жанкой виноваты перед младенцем-Юлей. Теперь Юля в том месте, куда нам всем ход заказан: «Я Фрэзи Грант Обских водохранилищ». Нас пинками оттуда гонят. Юля была нашим всеобщим любованием. И мы отняли у неё детство. Я думаю, что поэтам нельзя доверять детей...

Вернёмся к БАМу. Мы сильно смеялись над товарищем Фоняковым. Как же он проживает свою жизнь? Одна Жанка его жалела: «Фоняк из семьи сосланных». А мы-то кто были? Из каких мы все — семей-то?! Вся наша Сибирь — чёрт-те какой намес кровей и биографий таких, что скулы ломит...

И мы, вместо БАМа, мчались с Иваном Афанасьевичем Овчинниковым по сибирским ночным сугробам, нахально остановив милицейскую машину, чтоб доехать до сахарного нашего ненаглядного Дениса, жившего тогда в деревянном домике у съёмной бабки. Бабка, при виде нас, румяных от мороза и «яблока-вина», тогда жалостно завывала над Денисом: «Они бандиты. Затянули тебя. Особенно эта, девка в зелёном пальто. Покайся, Сашка. Тебе меньше срок дадут...» Но Денис не отрёкся от нас.

Помню, один раз Ваня Овчинников сказал Фонякову:

— У вас очень плохие стихи, — когда всё доел, что Фоняков ему дал из еды.

Фоняков был мэтр. И он улыбнулся, как мэтр, и спросил у Вани, модулируя голосом под «Колю Шипилова» — известного цыгана нашей юности:

— Что ж мне с этим делать, Иван?

— А вы пойдите на балкон и повесьтесь, — подумал и понял Иван Афанасьевич.

А про себя Иван написал вот что: «Да где же бессвязность-то? // В тысяча и тысяча году // гуси клювами завязывают // Ванину рубашку на лету.»

А в другой раз, вместо БАМа, ко мне домой пришли одной лютой ночной зимой Иван и Коля. А когда мой дедушка в другой комнате заплакал, что у меня, у девушки, мужчины ночью песни поют, я их, моих драгоценных, выгнала. Ивану было всё равно, а с Колей мы поругались. Он напрямую спросил: «Нинка, ты кого больше любишь? Своего дедушку или нас?» Я выдержала его честный цыганский взгляд: «Дедушку больше. Но и вас люблю». Была глухая морозная ночь, и парни легли в подъезде под батарею. Я им вынесла подушки, одеяло, стаканы и покушать. Я любила и дедушку старенького, и их. А БАМ — никогда.

Потом вдруг там же, в Новосибирске, каким-то непостижимым образом оказался и сверкающий, невозможный Женя Харитонов (москвич!). Глядя на Женю, остро хотелось в Москву. «Вороного манило — туда...» Почему-то Денису мы все казались конями...

И отдельно я подружилась навсегда с прозаиком-тяжеловесом и лучшим, на мой взгляд, переводчиком фаулзовского «Коллекционера» Лёшей Михеевым. Лёша был сыном писателя, на мой взгляд, великолепного, Михаила Михеева. Что у меня с детства его книжки лежали — это одно, а сам-то он был мне неинтересен, как, впрочем, и Розов. Аккуратные люди тогда не увлекали. Одно нравилось — тонкий, интеллигентный Лёшка так любил русский язык, так любил литературу. Лёша (Алексей Михеев ни разу, ни разочку не соврал в своём письме) — честнейшая пехота нашего русского фронта в литературе. С Лёшей мы учились выживать в литературе и в Москве. Лёша был «упёрт» в народность и всё время женился на крестьянках, а потом прикатывался ко мне: «Вот это да!»

Эти люди даны были мне, чтоб я не стала зубным техником или инженером-плановиком, или даже стюардессой. Бог меня любил и одарил так щедро, что вся русская речь стала моей собственностью.

**И. Л.: *Ваша учеба в Литинституте — с пользой или же зря потраченное время? Чему вы научились у руководителей семинара? Из вашей группы сколько человек осталось в литературе?***

**Н. С.:** В Литинститут я поступила случайно. Я жила в Новосибирске, как в раю, с бешеной ненасытностью общаясь с друзьями и громадиной-Сибирью. Но тайная хитрость, холодный расчёт, заложенные в меня с детства, подсказали — здесь, в Союзе писателей, все скорее умрут, чем станут тебя, Нина, печатать.

Мы все страстно хотели печататься. И нас никто не печатал. В Москве меня поразили листья. (И сжатость пространства.) Когда Юля приехала в Москву, она тоже это заметила, но как-то лениво: «В Москве у деревьев листья маленькие, а у нас большие». Мы все думали, что Москва — это правда. И еще одно — необъяснимое невежество, буквально — неспособность к образованию служащих «толстых» журналов с абсолютным, на мой тот взгляд, нормальным пониманием мировой и русской литературы, хоть Женей Харитоновым, хоть моими друзьями Денисом, Максом, Ваней... Как будто существовало два параллельных мира. Мы тот, мир тупых, называли «официоз».

Вот на этих смутных тропах междумирья и стал моим Вергилием удивительный и недооценённый мною человек Виктор Сергеевич Розов. Если б я могла сейчас ему сказать, как глубоко я благодарна ему. Но — не могу... О том, что человек навсегда занял место в твоей душе, узнаёшь слишком поздно. Это называется «невосполнимая утрата», кажется.

Надо сказать, что Литинститут при Пименове, позже при Сидорове, был роскошен: блестящие преподаватели, талантливые студенты, многие стали писателями и поэтами. Но явился Есин. И — тьма пала...